



Оле-Лукойе

Никто в свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. Он обут в одни чулки и тихо-тихо поднимется по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Боли при этом никакой: у Оле-Лукойе нет злого умысла; он хочет только, чтобы дети утомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Вот он и уложит их, а потом уж начнет рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель; одет он чудесно — на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета: он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он разворачивает над нехорошими детьми; эти спят всю ночь, как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне!

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика Яльмара и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок: в неделе ведь семь дней.

Понедельник

— Ну вот, — сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, — теперь разберем комнату!

— Что там такое! — сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик. И в один миг все комнатные цветы и растения выросли в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветки деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изумной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог.

Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и рядом с ними маленькие буквы — это была пропись; возле же шли другие, вообразившие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

— Вот как надо держаться! — говорила пропись. — Вот так, с легким наклоном направо!

— Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы Яльмара, — да не можем! Мы такие плохоньки!

— Так я угощу вас детским порошком! — сказал Оле-Лукойе

— Ай, нет, нет! — закричали они и выпрямились так, что любо!

— Ну, теперь нам не до сказок! — сказал Оле-Лукойе. — Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле-Лукойе ушел, и Яльмар утром проснулся, они смотрелись такими же жалкими, как прежде.

Вторник

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею волшебною спринцовкой до комнатной мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы, — эта молчала и сердилась про себя на их суетность говорить только о себе да о себе и даже не подумать о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие, старые деревья, трава, цветы и большая река, убегавшая мимо чудных дворцов за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белую краской, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах, с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами;

комары танцевали, а майские жуки гудели — всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот так было плавание!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки лежали большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Все они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, схватывался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам — каждый получал свою долю, но Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали дождем изюма и оловянных солдатиков — вот что значит настоящие принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила его. И вот он увидел ее: она кланялась, посылая ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидеть вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить,
И в щечки, и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить!
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!
Да будет вовеки Господь Бог с тобой!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали головами, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

Среда

. Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с окном. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

— Хочешь прокатиться, Яльмар? — спросил Оле. — Побываешь ночью в чужих землях, а к утру — опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви — кругом было сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распушенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но все напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бух! — стал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

— Ишь какой! — сказали куры.

А индюк надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивали друг друга и крякали.

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего этого не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

— Ну, не глуп ли он?

— Конечно, глуп! — сказал индюк и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке про себя.

— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индюк. — Почем аршин?

— Кряк! Кряк! Кряк! — закрякали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.



— Могли бы и вы посмеяться с нами! — сказал аисту индюк. — Очень забавно было сказано! Да куда, это, верно, слишком низменно для него! Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять самих себя!

И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу — теперь он успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закудахтали, утки закрякали, индюк же так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.

Славное путешествие сделали они ночью с Оле-Лукойе!

Четверг

— Знаешь что? — сказал Оле-Лукойе. — Только не испугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! — И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. — Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом мамашиной кладовой. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положишься на меня! — сказал Оле-Лукойе. — Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и, наконец, сделался величиною всего с пальчик.

— Теперь можно будет одолжиться мундиром у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир так красит, ты же идешь в гости!

— Ну, хорошо! — согласился Яльмар и был наряжен чудеснейшим оловянным солдатиком.

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки! — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, барышня? — сказал Яльмар, и они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий проход-коридор, в котором как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был иллюминирован гнилушками.

— Ведь чудный запах? — спросила мышка-возница. — Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, — мышки-кавалеры. По самой же середине, на выдолбленной корке сыра, возвышались жених с невестой и целовались на глазах у всех: они были ведь обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливая парочка поместилась в самых дверях, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощения и не было; в виде же десерта гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось и ему побывать в знатной компании, зато пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдата.

Пятница

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе! — сказал Оле-Лукойе. — Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, — говорят они мне, — мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие, маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле, — добавляют они с глубоким вздохом. — Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньгами!

— За что бы нам взяться сегодня ночью? — спросил Яльмар.

— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня день рождения куклы и потому готовится много подарков!

— Знаю, знаю! — сказал Яльмар. — Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

— Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им таки было о чем задуматься! Оле-Лукойе, наряженный в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вся комнатная мебель запела, на мотив марша, забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружной,

Как ветер пусть несется!

Хотя чета наша, ей-ей,

Ничем не отзовется.

Из лайки оба и торчат

На палках без движенья,

Зато роскошен их наряд —

Глазам на загляденье!

Итак, прославим песней их:

Ура! Невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

— Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? — спросил молодой.

На совет пригласили ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

— Там нет зато нашей зеленой капусты! — сказала курица. — Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песка, в котором мы могли рыться и копать сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

— Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! — сказала ласточка. — К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

— Ну, к этому можно привыкнуть! — сказала курица.

— А какой тут холод! Того и гляди замерзнешь! Ужасно холодно!

— То-то и хорошо для капусты! — сказала курица. — Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарница-то была! Все задохались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых животных, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть никуда не годным созданием, чтобы не находить нашу страну самою лучшею в мире! Такое создание недостойно и жить в ней! — Тут курица заплакала. — Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

— Да, курица — особа вполне достойная! — сказала кукла Берта. — Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам, — то вверх, то вниз, то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу, в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

Суббота

— А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

— Сегодня некогда! — ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. — Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли, кивая головами, маленькие китайцы.

— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! — продолжал Оле. — Завтра святой день, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, иначе они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле — посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их как следует, иначе они плохо будут держаться и посыплются с неба одна за другой!

— Послушайте-ка, господин Оле-Лукойе! — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. — Я прадедуска Яльмара и очень вам благодарен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же светила, как наша земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо тебе, прадедуска! — отвечал Оле-Лукойе. — Спасибо! Ты — глава фамилии, «старая голова», но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну, уж нельзя и высказать своего мнения! — сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

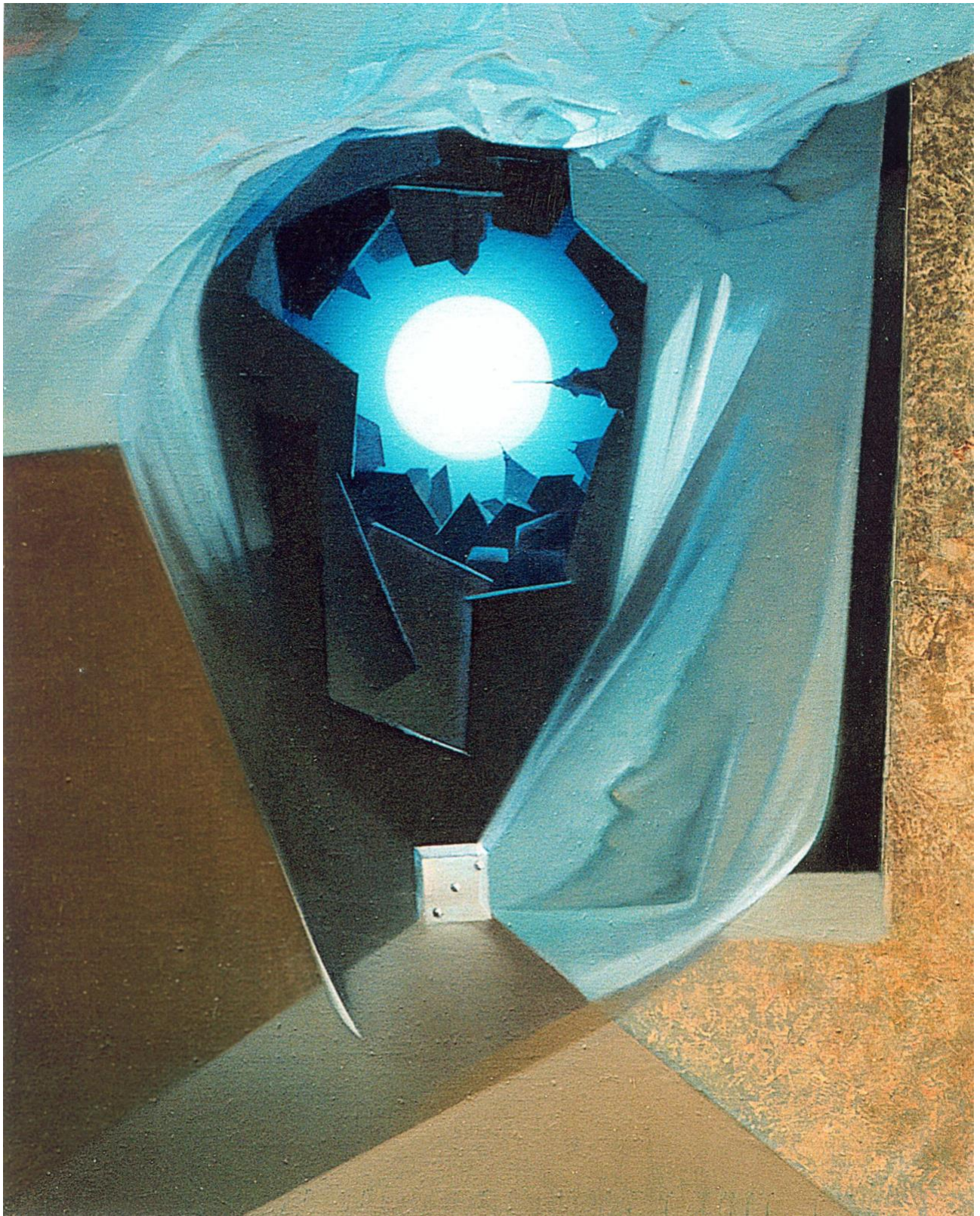
Воскресенье

— Добрый вечер! — сказал Оле-Лукойе.

Яльмар кивнул ему головкой, вскочил и повернул прадедускин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иглой.

— Ну, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является



больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на лошадь и рассказывает ему сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать — как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Люди зовут его также смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развеивается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет в галоп!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала всегда спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажите-ка! — говорил он.

Приходилось показать, и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, — позади себя, и эти должны были слушать ужасную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли: они сразу крепко прирастали к седлу.

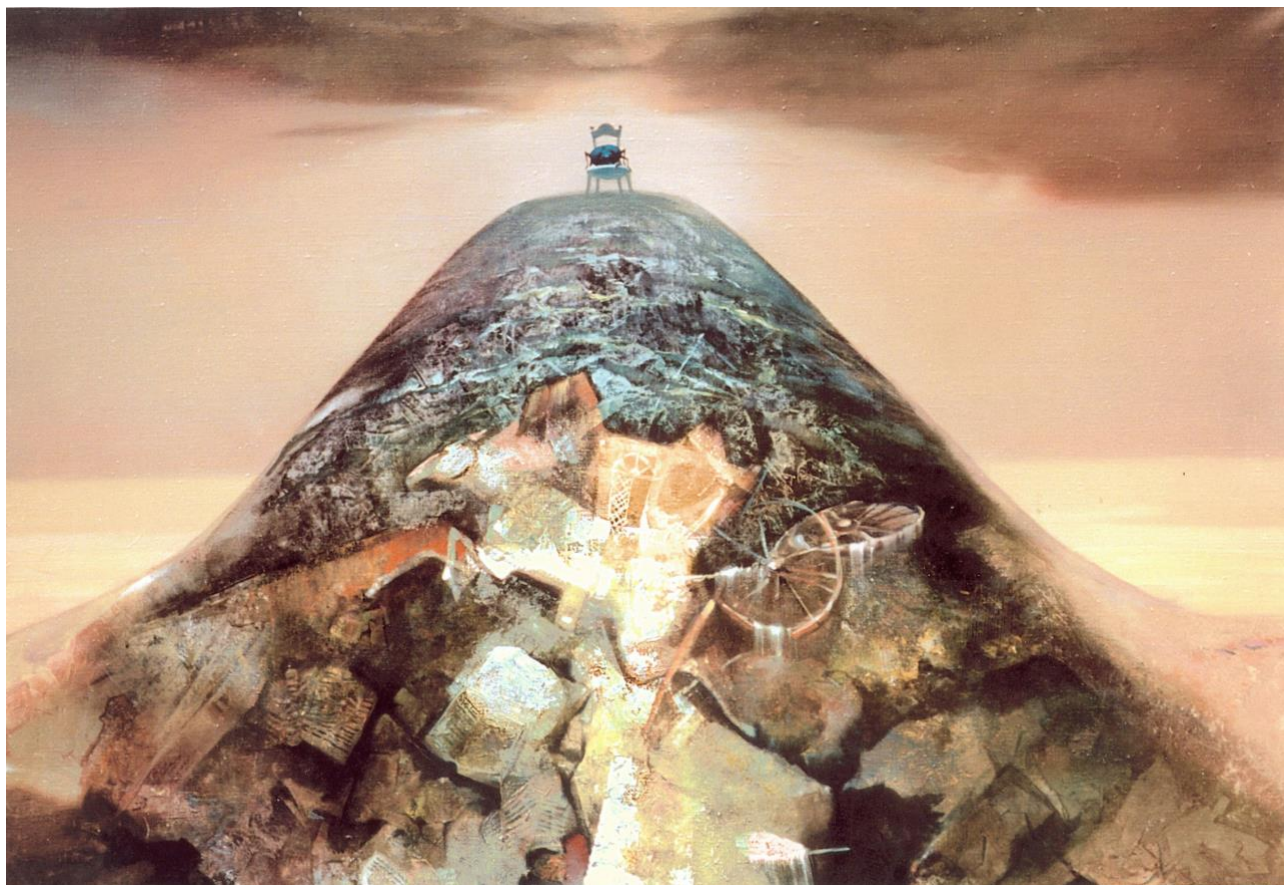
— Но ведь смерть — чудеснейший Оле-Лукойе! — сказал Яльмар. — И я ничуть не боюсь его!

— Да и нечего бояться! — сказал Оле. — Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки за поведение!

— Да, вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет. — Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

Он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.



Навозный жук

Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу. За что?

Она была чудо как красива, с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, ниспадавшей на ее шею длинной мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась от них на жизнь и смерть, одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и саму жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу. А навозный жук тут как тут.

— Сперва великие мира сего, потом уж малые! — сказал он. — Хотя и не в величине, собственно, тут дело! — И он протянул свои тощие ножки.

— Что тебе? — спросил кузнец.

— Золотые подковы! — ответил жук.

— Ты, видно, не в уме! — сказал кузнец. — И ты золотых подков захотел?

— Да! — ответил жук. — Чем я хуже этой огромной скотины, за которой еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои! Разве я-то не из царской конюшни?

— Да за что лошади дают золотые подковы? — спросил кузнец. — Вдомек ли тебе?

— Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить! — сказал навозный жук. — Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

— Проваливай! — сказал кузнец.

— Невежа! — ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванды.

— Правда ведь, здесь чудо как хорошо? — спросила жука жесткокрылая божья коровка, вся в черных крапинках. — Как тут сладко пахнет, как все красиво!

— Ну, я привык к лучшему! — ответил навозный жук. — По-вашему, тут прекрасно?! Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя; по стеблю ползла гусеница.

— Как хорош Божий мир! — сказала она. — Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того, как я, наконец, засну или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!

— Да, да, воображай! — сказал навозный жук. — Так вот мы и полетим бабочками! Я из царской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь?! Да, вот мы так сейчас улетим! — И он улетел. — Не хотелось бы сердиться, да поневоле рассердишься!

Тут он бухнулся на большую лужайку, полежал, полежал да и заснул.

Батюшки мои, какой припустился лить дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине и на брюшке — улететь нечего было и думать, — но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать, где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук отмигал воду с глаз и увидел невдалеке что-то белое; это был холст, что разложили бабы белить; жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то, что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался лежать тут весь день

и всю ночь — дождь все лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки; глаза их так и блестели от удовольствия.

— Славная погода! — сказала одна. — Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние ноги зачесались: так бы вот и поплыла!

— Хотела бы я знать, — сказала другая, — нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Этакie дожди, сырость — чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын своего отечества!

— Вы, значит, не бывали в царской конюшне? — спросил их навозный жук. — Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне, да его не возьмешь с собою в дорогу! Нет ли здесь в саду хоть парника, где бы знатные особы вроде меня могли найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его или не хотели понять.

— Я никогда не спрашиваю два раза! — заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним и жило несколько семейств клещей. Им простора не требовалось — было бы общество. Клещихи отличаются материнской нежностью, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

— Наш сынок помолвлен! — сказала одна мамаша. — Милая невинность! Его заветнейшая мечта — заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

— А наш сын, — сказала другая, — едва вылупился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Это большая радость для матери! Не правда ли, господин навозный жук? — Они узнали прищельца по фигуре.

— Вы обе правы! — сказал жук, и клещихи пригласили его проползти к ним, насколько он мог подлезть под черепок.

— Надо вам взглянуть и на моих малюток! — сказала третья, а потом и четвертая мамаша. — Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик — а от этого в их возрасте не уберешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках — дергали ими навозного жука за усы.

— Чего только ни выдумают эти шалунишки! — сказали мамыши, потя от умиления; но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.

— О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы! — сказали в один голос клещихи. — Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

— Ну, а я попробую добраться туда! — сказал навозный жук и ушел, не прощаясь, — это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

— А мы тут живем! — сказали они. — У нас преугодно! Милости просим в наше сочное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

— Да! — ответил жук. — Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистоплотность хоть кого уводит, не то что меня. Пришлось постоять и под глиняным черепком на сквозняке, ну и схватил ревматизм в предкрылье! Хорошо наконец очутиться среди своих!

— Вы, может быть, из парника? — спросил старший из навозных жуков.

— Подымай выше! — сказал жук. — Я из царской конюшни; там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не расспрашивайте меня, я все равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

— Они еще не просватаны! — сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

— Прекраснее барышень я не встречал даже в царской конюшне! — сказал жук-путешественник.

— Ах, не испортийте мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений.

Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение!

— Ура! — закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвкой последовала и свадьба — зачем откладывать?

Следующий день прошел хорошо, второй — так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть, и деток. «Вот-то поддели меня! — сказал он себе. — Так и я ж их поддену!» Так и сделал — ушел. День нет его, ночь нет его — жена осталась вдовой. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена теперь осталась у них на шее!

— Так пусть она опять считается барышней! — сказала мамаша. — Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее!

А он себе переплыл канаву на капустном листке. Утром явилось двое людей, увидели жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть какие ученые, особенно мальчик.

— «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы», так ведь сказано в Коране? — спросил он и, назвав навозного жука по-латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит. Старший ученый не советовал мальчику брать жука с собою домой — не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливой, он взял да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно

проскользнул в нее — одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

— Ах, как славно! — сказал он.

Скоро он заснул и видел во сне, что царская лошадь пала, а сам господин навозный жук получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. То-то было приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы всерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, кишмя кишели цветы, огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежеснеженный снег.

— Вот-то бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет! — сказал навозный жук. — Знатная кладовая! Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим! — И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах.

Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать...

В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем; они увидели навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому озеру. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку, вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкипера и должен был отправиться в плавание.

Озеро было большое-пребольшое; навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило, что он упал навзничь и задрогал ножками.

Башмак относил от берега течением, но как только он отплыл чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог — он был привязан к мачте.

В гости к нему прилетела муха.

— Какая славная погода! — сказала она. — У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

— Болтаете, сами не знаете, что! Не видите, что ли — я привязан?

— А я нет! — сказала муха и улетела.

— Вот когда я узнал свет! — сказал навозный жук. — Как он низок! Я один только порядочный! Сначала меня обходят золотыми подковами, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного, в дикое море! А царская лошадь щеголяет себе в золотых подковах! Вот

что меня больше всего мучит! Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень интересна, а что толку, если ее никто не знает! Да свет и не достоин знать ее, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда царская лошадь протянула за ними

ноги. Получи я золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для них, свет лишился меня, и всему конец!

Но конец всему, видно, еще не наступил: на озере появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек.

— Вон плывет деревянный башмак! — сказала одна.

— И бедное насекомое привязано крепко-накрепко! — сказала другая.

Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

— Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь! — сказала она ему. — Свобода — славное дело!

И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой царской лошади, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости.

— Ну вот я и сижу на любимой царской лошади, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне все ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?» — спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

И жук опять повеселел.

— Путешествие проясняет мысли! — сказал он. Солнышко светило прямо на него и светило так красиво! — Свет, в сущности, не так-то уж дурен! — продолжал рассуждать навозный жук. — Надо только уметь за него взяться!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков ради того только, что на ней ездил верхом навозный жук?

— Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.



Стойкий оловянный солдатик

Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери — старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир — ну прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они услышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был на одной ноге. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни.

Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, — она была танцовщицей, — а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик совсем не мог видеть ее, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот была бы мне жена! — подумал он. — Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук: ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть «в гости», «в войну» и «в бал». Оловянные солдатики принялись стучать в

стенки коробки — они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! — табакерка раскрылась.

Там не было табаку, а маленький черный бука — вот так фокус!

— Оловянный солдатик, — сказал бука, — нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

— Ну, постой же! — сказал бука.

Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг — по милости ли буки или от сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа — только в ушах засвистело! Минута — и он уже стоял на мостовой кверху ногой: голова его в каске и ружье застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатика не могли; они чуть не наступали на него ногами и все-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» — они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице: он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец пошел настоящий ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

— Эй! — сказал один. — Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канавку. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Эх-ма! Вот так волны ходили по канавке! Течение так и несло — немудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет? — думал он. — Да, это все штуки гадкого буки! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица, по мне будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

— Паспорт есть? — спросила она. — Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и крепко держал ружье. Лодку несло, а крыса бежала за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

— Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта! Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе — у конца мостика канавка впадала в большой канал! Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Но остановиться уже было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался по-прежнему по струнке и даже глазом не моргнул. Лодка завертелась... Раз, два — наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше — больше... вода покрыла его с головой! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему ее больше. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,

И смерть спокойно встретить!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как узко! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделяла самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распоролла ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик не загордился. Его поставили на стол, и — чего-чего ни бывает на свете! — он увидел себя в той же самой комнате, увидел тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с красавицей танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не перемолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печь. Наверное, это все бука подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем. Ему было ужасно жарко, от огня или от любви — он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает отчего — от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печь к оловянному солдатiku, вспыхнула разом, и — конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выбирала из печки золу и нашла его в виде маленького оловянного сердечка; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.

Девочка со спичками

Морозило, шел снег, на улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытой головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились! Огромные-преогромные! Последнюю их носила мать девочки, и они слетели у малышки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут.

И вот девочка побрела дальше босая; ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички — она не выручила ни гроша. Голодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше... Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья падали на ее прекрасные, вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями: был канун Нового года — вот об этом она думала.

Наконец она уселась в уголке, за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее, а домой она вернуться не смела, ведь она не продала ни одной спички, не выручила ни гроша — отец прибьет ее! Да и не теплее у них дома! Только что крыша над головой, а ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем окоченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть ее! Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное, и, когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка: девочке чудилось, будто она сидит перед большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке! Она вытянула было и ножки, но... огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытый белоснежною скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него! Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилок и ножом в спине, так и побежал вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена.

Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшею елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручонки, но спичка потухла, огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки; одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собою длинный огненный след.

— Вот кто-то умирает! — сказала малютка.

Покойная бабушка, единственное любившее ее существо в мире, говорила ей: «Падает звездочка — чья-нибудь душа идет к Богу».

Девочка чиркнула об стену новою спичкой; яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая, ее бабушка.

— Бабушка! — вскричала малютка. — Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка, уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая, славная елка!

И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках, — так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такою красивою, такою величественною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии и в блеске высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха: к Богу!

В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щечками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем обгорела.

— Она хотела погреться, бедняжка! — говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо!

Предание

Жил-был злой, высокомерный князь. Он только и думал о том, как бы покорить себе весь свет, на всех нагнать страх одним своим именем. И вот он шел в чужие земли с огнем и мечом; воины его топтали нивы и зажигали крестьянские дома; красные языки лизали листья на деревьях, а плоды поджаривались на обуглившихся ветвях. Часто бедная мать укрывалась с голеньким грудным малюткой за дымившимися стенами, но воины рыскали повсюду, находили их, и начиналась дьявольская потеха! Злые духи не могли поступать хуже. Но князю казалось, что дела шли как должно. День от дня росло его могущество, имя его наводило ужас на всех, и удача сопровождала его во всех его деяниях. Из покоренных городов вывозил он золото и богатые сокровища, и в столице его скопились несметные богатства: нигде в свете не было ничего подобного. Он повелел строить великолепные дворцы, церкви и арки, и все, видевшие эти чудные постройки, говорили: «Какой великий князь!» Они не думали о бедствиях, в какие он поверг чужие земли, не слышали стонов и жалоб, раздававшихся в ограбленных и сожженных городах.

Сам князь смотрел на свое золото, на великолепные здания и думал, как другие: «Какой я великий князь! Но мне еще мало всего этого! Хочу большего! Ничья власть в мире не должна равняться с моею, не то что превосходить ее!»

И он пошел войной на всех своих соседей и всех покорил.

Плененных королей он велел приковывать золотыми цепями к своей колеснице всякий раз, как собирался проехаться по улицам столицы. Когда же он сидел за столом, они должны были лежать у ног его и его придворных и хватать куски хлеба, которые им бросали.

Наконец, князь повелел воздвигнуть себе на площадях и во дворцах статуи; он хотел было поставить их в храмах, перед алтарем господ, но священники сказали: «Князь, ты велик, но бог выше тебя, мы не смеем сделать этого».

— Ладно! — сказал злой князь. — Так я покорю и бога!

И, ослепленный безумною гордостью, он приказал строить диковинный корабль, на котором можно было носиться по воздуху. Корабль был расписан разными красками и походил на павлиний хвост, усеянный тысячами глазков, но каждый глазок был ружейным дулом. Князь сел на корабль; стоило ему нажать одну пружину, из ружей вылетали тысячи пуль, а ружья сейчас же сами собой заряжались вновь. Сто могучих орлов были впряжены в корабль, и вот он взвился в воздух, к солнцу. Земля едва виднелась внизу, горы и леса казались сначала вспаханным дерном, затем нарисованными на плоской ландкарте и наконец вовсе исчезали в облачном тумане. Все выше и выше подымались орлы; тогда бог выслал одного из своих бесчисленных ангелов, но злой князь встретил его ружейным залпом. Пули отскочили от блистающих крыльев ангела, как градинки; только одна-единственная капелька крови вытекла из белоснежного крыла и упала на корабль, где сидел князь. Она глубоко въелась в дерево и надавила на дно корабля с страшною силой, словно тысячепудовая глыба свинца. Корабль полетел вниз с неимоверною быстротою; могучие крылья орлов переломились; ветер так и свистел в ушах у князя; облака, собравшиеся из дыма от сгоревших городов, теснились вокруг и принимали чудовищные формы: огромных раков, протягивавших к князю сильные клешни, катящихся обломков скал и огнедышащих драконов. Князь лежал на дне корабля полумертвый от страха. Наконец корабль застрял в густых ветвях лесных деревьев.

— Я одолею бога! — сказал князь. — Я дал себе клятву одолеть его, и быть по сему! — И он приказал строить новые воздушные корабли; строили их семь лет. Велел он также ковать молнии из твердейшей стали, чтобы взять твердыню неба приступом, и собрал воинов со всех концов своего государства; войска покрыли пространство в несколько квадратных миль. Воины готовы были сесть на корабли, князь подошел к своему, но бог выслал на него рой комаров, один только маленький комариный рой. Насекомые жужжали вокруг князя и жалили его в лицо и руки. Он злобно выхватил меч, но рубил им лишь воздух, в комаров же попасть не удавалось. Тогда он велел принести драгоценные ковры и укутать себя ими с ног до головы, чтобы ни один комар не мог достать до него своим жалом. Приказ его был исполнен, но один комар ухитрился пробраться под самый нижний ковер, заполз в ухо князя и ужалил его. Словно огонь разлился по крови князя, яд проник в его мозг, и он сорвал с себя все ковры, разодрал на себе одежды и голый принялся метаться и прыгать перед толпой своих свирепых, солдат, а те только потешались над безумным князем, который хотел победить бога и был сам побежден комариком!

Подснежник

Зима; холодно; ветер так и режет, но в земле хорошо, уютно; там и лежит цветочек в своей луковичке, прикрытой землей и снегом. Но вот выпал дождь; капли проникли сквозь снежный покров в землю к цветочной луковичке и сообщили ей о белом свете, что над нею. Скоро пробрался туда и солнечный луч, такой тонкий, сверлящий; он пробуравил снег и землю и слегка постучался в луковичку.

— Войдите! — сказал цветок.

— Не могу! — ответил луч. — Я еще слаб теперь, и мне не раскрыть луковички! А вот к лету я соберусь с силами!

— А когда будет лето? — спросил цветок и спрашивал то же самое у каждого нового гостя — солнечного луча. Но до лета было еще долго; снег еще не весь стаял, и лужицы каждую ночь затягивало льдом.

— Как это долго тянется! — говорил цветок. — А мне просто не сидится на месте! Хочется потянуться, вытянуться, раскрыться, выйти на волю, повидаться с летом! То-то блаженное времечко!

И цветок потянулся в своей тонкой скорлупке, размягченной водою, согретой снегом и землею, пронизанной солнечными лучами. Скоро из земли, под снегом, пробился зеленый стебелек со светло-зеленым бутонем, окруженным, словно ширмочкой, узенькими, толстенькими листками. Снег был еще холодный, но весь залит лучами солнца, — он был уже настолько рыхл, что им легко было пробиться сквозь него, да и сами они стали теперь сильнее.

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! — запели они, и цветок выглянул из-под снега. Солнечные лучи ласкали и целовали малютку, так что белоснежная с зелеными жилками чашечка его совсем раскрылась. Радостно и скромно склонил он головку.

— Милый цветочек! — пели солнечные лучи. — Как ты свеж и нежен! Ты первый, единственный! Ты наше возлюбленное дитя! Ты возвещаешь лето, чудное лето! Скоро весь снег растает, холодные ветры унесутся прочь! Царствовать будем мы! Все зазеленеет! И у тебя появятся подружки: зацветут сирень и желтая акация, а потом розы, но ты все-таки первый, такой нежный, прозрачный!

Вот была радость! Казалось, самый воздух пел и звучал, солнечные лучи проникали в самые лепестки и стебелек цветка. И он стоял, такой нежный, хрупкий и в то же время полный сил, в пышном расцвете юной красоты, такой нарядный в своем белом платьице, с зелеными ленточками, и славил лето. Но до лета было еще долго; облака закрыли солнышко, подули холодные, резкие ветры.

— Рановато ты появился! — сказали они цветку. — Сила еще на нашей стороне! Постой, мы зададим тебе! Сидеть бы тебе да сидеть в тепле, а не торопиться франтить на солнышке — не пришло еще время!

Холод так и щипал. Дни шли за днями, а не показывалось ни единого солнечного луча. Нежному цветочку хоть замерзнуть было впору. Но он был сильнее, чем подозревал сам; его укрепляла радостная вера в обещанное лето. Оно должно было скоро прийти! Недаром же о нем возвестили солнечные лучи. Цветок твердо верил их обещанию и терпеливо стоял на белом снегу в своем белом наряде, склоняя головку под тяжелыми, густыми хлопьями снега; вокруг него бушевали холодные ветры.

— Ты сломишься! — говорили они. — Завянешь, замерзнешь! Что тебе надо было тут? Зачем ты дал себя выманить? Солнечный луч обманул тебя! Вот и поделом тебе теперь! Эх ты, подснежник!

— Подснежник! — прозвучало в холодном утреннем воздухе.

— Подснежник! — ликовали дети, выбежавшие в сад. — Вот тут растет один, такой миленький, прелестный, первый, единственный!

И слова эти пригрели цветок, словно солнечные лучи. От радости он даже не почувствовал, что его сорвали. Он очутился в детской ручонке, детские губки целовали его. Потом его принесли в теплую комнату, полюбовались на него и поставили в воду. Цветок ожил, возродился к жизни, подумал, что вдруг наступило лето.

У старшей дочери, прелестной молодой девушки, — она уже была подтверждена — был друг сердца; он тоже был подтвержден и теперь проходил курс наук.

— Вот пошучу с ним! Он подумает, что у нас уже лето! — сказала девушка, взяла нежный цветочек и положила его в душистый листок бумаги, на котором были написаны стихи о подснежнике. Они начинались словом «подснежник», а кончались словами: «Теперь, дружок мой, ты на всю зиму останешься дурачком!» Да, вот что говорилось в стихах, которые она послала другу вместо письма. Цветок очутился в конверте; как там было темно! Он точно опять попал в луковичку! И вот он отправился в путь, побывал в почтовой сумке, его тискали, комкали; приятного тут было мало, но и этому пришел конец.

Письмо дошло по назначению; его распечатали и прочли. Друг сердца был так доволен, что расцеловал цветок и спрятал его вместе со стихами в ящик. Там лежало много таких же дорогих писем, но все они были без цветов; этот явился первым, единственным, как называли его солнечные лучи, и цветок не нарадовался этому!

А времени радоваться было у него довольно: прошло лето, прошла и длинная зима, снова настало лето, и тогда только его опять вынули. Но на этот раз молодой человек не был весел и так сердито принялся рыться в письмах и бумагах, что листок со стихами полетел на пол, и подснежник выпал из него. Правда, он высох и сплюснулся, но из-за этого не следовало все-таки швырять его на пол! Все же лежать на полу было лучше, чем сгореть в печке, куда угодили все письма и стихи. Что же случилось? То, что часто случается. Подснежник

обманул молодого человека — это была шутка; девушка обманула его — это уж была не шутка. Она избрала себе летом нового друга сердца.

Утром солнышко осветило маленький сплюснутый подснежник, выглядевший словно нарисованным на полу. Девушка, подметавшая пол, подняла его и вложила в одну из книг на столе; она думала, что нечаянно выронила оттуда цветок, приводя стол в порядок. И вот цветок снова очутился между стихами, но на этот раз напечатанными, а они ведь важнее написанных, по крайней мере обходятся дороже.

Прошли годы; книга все стояла на полке; но вот ее взяли, открыли и стали читать. Книга была хорошая: стихи и песни датского поэта Амвросия Стуба; с ними стоит познакомиться. Человек, читавший книгу, перевернул страницу.

— Подснежник! Недаром его положили сюда. Бедняга Амвросий Стуб! Ты тоже был подснежником среди своих собратьев! Ты явился слишком рано, опередил свое время, и тебя встретили буйные ветры и непогода. Пришлось тебе скитаться из дома в дом, от одного фионского помещика к другому, разыгрывая роль цветка в стакане с водой или вложенного в рифмованное письмо! Да, и ты был подснежником, обманчиво возвестившим лето, недоразумением, шуткой, но все же ты был первым, единственным, дышащим юношеской свежестью, датским поэтом. Оставайся же тут, подснежник! Ты положен сюда недаром.

И подснежник опять положили в книгу; он был и польщен и обрадован, узнав, что положен в это прекрасное собрание песен недаром и что сам певец был таким же подснежником, над которым подшутила зима. Подснежник понял все по-своему, как и мы всякую вещь понимаем по-своему.

Вот и вся сказка о подснежнике.



В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом же росли подруги постарше — и ели, и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали по лесу землянику и малину; набрав полные корзиночки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили:

— Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая! Таких речей деревце и слушать не хотело.

Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год, прибавилось еще одно — так, по числу коленцев, и можно узнать, сколько дереву лет.

— Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! — вздыхала елочка. — Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробежал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку — вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его кругом.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом — что может быть лучше этого!» — думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревце спросило у них:

— Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их? Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

— Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

— Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать! — ответил аист и улетел.

— Радуйся своей юности! — говорили елочке солнечные лучи. — Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливалась над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Незадолго до Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

— Куда? — спросила ель. — Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали воробьи. — Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами: золочеными яблоками, медовыми пряниками и тысячами свечей!

— А потом?.. — спросила ель, дрожа всеми ветвями. — А потом?.. Что было с ними потом?

— А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

— Может быть, и я пойду такую же блестящую дорогой! — радовалась ель. — Это лучше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такую же высокою и раскидистою, как те, что были срублены в прошлом году! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла, разубранная всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

— Радуйся нам! — сказали ей воздух и солнечный свет. — Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревце!» Подошло, наконец, и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже и подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла: она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг — елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

— Чудесная елка! Таковую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров — так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли полные сластей маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, золоченные яблоки и орехи и закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще и не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, а к самой верхушке елки — большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

— Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! — сказали все.

«Ах! — подумала елка, — хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я вращу в эту кадку и буду стоять тут такою нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажгли свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка пребольно обожглась.

— Ай-ай! — закричали барышни и поспешно затушили огонь. Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно

потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее... Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а там поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были посорваны.

«Что же это они делают! — думала елка. — Что это значит?» Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви трещали! Не будь елка крепко привязана верхушкою с золотой звездой к потолку, они бы повалили ее.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького господина.

Он уселся под деревом и сказал:

— Вот мы и в лесу! Да и елка, кстати, послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький господин рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще, еще!» Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка: лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» — думала елка: она вполне верила всему, что сейчас слышала, — рассказывал ведь такой почтенный господин. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и мне достанется принцесса!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! — думала она. — Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Потру явились слуга и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» — подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? — думалось елке. — Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи — никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! — думала елка. — Земля затвердела и покрыта снегом: нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело!

Кругом снег, а по снегу скачут зайчики! Хорошо было... Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

— Пи-пи! — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще несколько. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

— Ужасно холодно здесь! — сказали мышата. — А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала ель. — Есть много деревьев постарше меня!

— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили мышата; они были ужасно любопытны. — Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать по сальным свечкам? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

— Нет, такого места я не знаю! — сказала дерево. — Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

— Как же ты много видела. Как ты была счастлива!

— Счастлива? — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. — Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

— О! — сказали мышата. — Как же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем еще не стара! — возразила ель. — Я взята из леса только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

— Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и мне тоже достанется принцесса!

При этом дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, — она казалась ему настоящей принцессой.

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия чуть не прыгали до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только! — отвечала ель. — Я слышала ее в счастливейший вечер в моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

— В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки? Про кладовую?

— Нет! — ответило дерево.

— Так счастливо оставаться! — сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

— А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» — подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца — ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

— Квир-вир-вит! Мой муж вернулся! Но это не относилось к ели.

— Теперь и я заживу! — радовалась ель и расправила свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, на крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

На дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел дерево и сорвал с него звезду.

— Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! — сказал он и наступил ногами на ее ветви — ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак.

Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

— Все прошло, прошло! — сказала бедное дерево. — И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь... все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски — вышла целая связка растопок. Как славно запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли на дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!

Серебряная монетка

Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки — чистенькая, светленькая, — покатилась и зазвенела:

— Ура! Теперь пойду гулять по белу свету!

И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали много раз, а у молодых она не задерживалась и живо катилась дальше.

Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она целый год гуляла по белу свету, то есть в той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась за границу и оказалась последней родной монеткой в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попала к нему в пальцы.

— Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! — сказал он.

— Ну, пусть едет со мною путешествовать!

И монетка подпрыгнула от радости и зазвенела, когда ее сунули обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать со своими иностранными сородичами, которые все сменялись — одна уступала место другой, ну а она все оставалась в кошельке. Это уже было своего рода отличие!

Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, сама не знала куда. Она лишь слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то и таком-то городе, но сама она ни о чем и представления не имела: не много увидишь, сидя в кошельке, как она! Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт. Ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну, и это не прошло ей даром. Она попала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать, как лежала. Брюки вынесли для чистки в коридор, и тут монетка вывалилась из кармана на пол. Никто этого не слышал, никто этого не видал.

Утром платье опять забрали в комнату, путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и она вновь должна была пойти в ход вместе с тремя другими монетами.

"Вот хорошо-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые нравы!" — подумала монетка.

— А это что за монета? — послышалось в ту же минуту. — Это не наша монета. Фальшивая! Не годится!

С этого и началась история, которую она сама потом рассказывала.

— "Фальшивая! Не годится!" Я вся так и задрожала! — рассказывала она.

— Я же знала, что я серебряная, чистого звона и настоящей чеканки. Верно, ошиблись, думаю, не могут люди так отзываться обо мне. Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивой, это я никуда не годилась! "Ну, сбуду ее с рук в сумерках!" — сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: "Фальшивая!", "Не годится!", "Надо поскорее сбить ее с рук!"

И монетка дрожала от страха и стыда всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо монеты той страны.

— Ах я горемычная! Что мне мое серебро, мое достоинство, моя чеканка, когда все это ничего не значит! В глазах людей остаешься тем, за кого они тебя принимают! Как же ужасно и вправду иметь нечистую совесть, пробиваться в жизни нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело только потому, что я кажусь виновной!.. Всякий раз, как я перехожу в новые руки, я трепещу взгляда, который на меня упадет: я знаю, что меня сейчас же швырнут обратно на стол, словно я какая-нибудь обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине: она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Ей никак не удавалось сбить меня с рук, никто не хотел меня брать. Я была для бедняги сущей напастью.

"Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! — сказала женщина. — Где мне, при моей бедности, держать фальшивую монету! Отдам-ка ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого, хоть и нехорошо это, сама знаю, нехорошо!"

"Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! — вздохнула я. — Неужто я и впрямь так изменилась под старость?"

Женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо разбирался в монетах, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили: он швырнул меня в лицо бедной женщине. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так горько, так горько сознавать, что я отчеканена на горе Другим! Это я-то, некогда такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка,

которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, поглядела на меня добродушно и ласково и сказала:

"Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Пстой, мне пришло на ум — быть может, ты монетка счастливая? Наверно, так! Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу тебя на шею соседкиной девочке — пусть носит на счастье!"

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно, когда тебя пробивают, но ради доброго намерения многое можно перенести. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шею малютке, и она улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела и что-то задумала... Я сейчас же догадалась! Потом взяла ножницы и перерезала шнурок.

"Счастливая монетка! — сказала она. — А ну посмотрим!" И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела: потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить билетик на счастье.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивой, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкой. Но нет! Я избежала позора! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли купленный на меня билет, не знаю, знаю только, что на другой же день меня признали фальшивой, отложили в сторону и опять отправили обманывать — все обманывать! Ведь это просто невыносимо для честной натуры — ее-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама разуверилась и в себе и в людях. Тяжелое выдалось для меня время!

Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за тамошнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: "Фальшивая! Не годится!"

"Мне дали ее за настоящую! — сказал путешественник и взглянул в меня пристальнее. И вдруг на лице его появилась улыбка. А ведь, глядя на меня, давно уже никто не улыбался. — Нет, что же это! — сказал он. — Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка моей родины, а в ней пробили дырку и называют ее фальшивой! Вот забавно! Надо припрятать тебя и взять с собою домой".

То-то я обрадовалась! Меня опять называют доброй, честной монетой, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре, искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять. Вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересной, не говоря ни слова.

И вот я попала домой. Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне пробита дыра, как в фальшивой: что за беда, если на самом-то деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: пройдет время, и все станет на свои места. Уж в это я твердо верю! — заключила свой рассказ монетка.

Штопальная игла

Жила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка. — Смотрите, смотрите, что вы держите! — сказала она пальцам, когда они вынимали ее. — Не уроните меня! Упаду на пол — чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

— Вот видите, я иду с целой свитой! — сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

— Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, — кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

— Фу, какая черная работа! — сказала штопальная игла. — Я не выдержу! Я ломаюсь!

И вправду сломалась.

— Ну вот, я же говорила, — сказала она. — Я слишком тонка!

"Теперь она никуда не годится", — подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее: кухарка напала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.

— Вот теперь я — брошка! — сказала штопальная игла. — Я знала, что буду в чести: в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя, — ведь никто не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко, — она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась она к соседке-булавке. — Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь ее отрастить, — не всякому ведь достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помой.

— Отправляюсь в плавание! — сказала штопальная игла. — Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала она, лежа в уличной канаве. — Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

— Ишь, как плывут! — говорила штопальная игла. — они понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. — Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смиренно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

— Вы, должно быть, бриллиант?

— Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

— Да, я жила в коробке у одной девицы, — рассказывала штопальная игла. — Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку!

— А они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — отвечала штопальная игла. — Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все — урожденные "пальцы"; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний — Толстяк, — впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — Лакомка — тыкал нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он не нажимал перо, когда надо было писать. Следующий — Долговязый — смотрел на всех свысока. Четвертый — Златоперст — носил вокруг пояса золотое кольцо и, наконец, самый маленький — Пер-музыкант — ничего не делает и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот — я бросилась в раковину.

— А теперь мы сидим и блестим! — сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

— Он продвинулся! — вздохнула штопальная игла. — А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

— Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, — так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мой глазок <игольное ушко по-датски называется игольным глазком>, я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копать в канавке, выскивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

— Ай! — закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу. — Смотри, какая штука!

— Черное на белом фоне очень красиво! — сказала штопальная игла. — Теперь меня хорошо видно!

Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни — выдержала.

— Я не штука, а барышня! — заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

— Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда помнить, что ты не то что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

— Крак! — сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

— Ух, как давит! — завопила штопальная игла. — Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, — ну и пусть себе лежит!

Затонувший монастырь

Неподалеку от Нейенкирха среди дремучих лесов притаилась одинокая полянка с озерцом; редко кто сюда заглядывает, да и знают-то о ней немногие. В черных елях, окружающих лужайку и озеро, есть какая-то унылость, нечто, навевающее невольный трепет. Они словно окутывают таинственным покровом эти места; здесь не щебечут птицы, сюда не заглядывают солнечные лучи. Само озеро — глубины бездонной, и оттого-то еще больше сторонятся люди этих мест.

В стародавние времена стоял здесь женский монастырь с высокими башнями и с каменными статуями вдоль красных кирпичных стен.

Однажды ненастной зимней ночью набрел на монастырь нищий, больной старик; обессиленный, постучал он в ворота и стал проситься на ночлег. Но сестра привратница была женщина ленивая и жестокосердная, не хотелось ей в стужу спускаться вниз, отмыкать все замки о запоры. И она сердито крикнула старику, чтобы он шел своей дорогой и искал ночлега в другом месте. Но странник так устал и продрог, что дальше не мог идти; он снова стал просить, жалобно плакал, но все было напрасно. Ни настоятельницу, ни остальных монахинь не тронуло его горе. Только одна-единственная из сестер, которая еще не дала монашеского обета, сжалилась, видя его слезы, и заступилась за старика. Но монашки только посмеялись над ней, поглумились над ее добротой, да так и оставили беднягу за воротами.

Тут непогода еще пуще разыгралась, а старик прикоснулся своим посохом к стене, и в мгновение ока неприступный монастырь провалился в бездну. Огонь и дым взметнулись из страшного жерла, которое тут же заполнилось водой. К утру буря стихла, и на том самом месте, где вчера еще солнце играло на золотых крестах высоких колоколен, теперь раскинулось озеро.

Добросердечная сестра-послушница, которая пожалела старика, горячо, всей душой любила одного из самых знатных рыцарей тех краев, и потому монастырь казался ей темницей. Не раз ночью порою пробирался рыцарь тайком через лес к уединенному монастырю. Когда все вокруг погружалось в сон, они переговаривались через решетку на окне ее кельи, и часто, бывало, их свидания кончались лишь на заре.

Пришел он и в ту ненастную ночь. Но какой болью и тревогой наполнилось сердце рыцаря, когда не увидел он больше на прежнем месте монастыря, а лишь услышал, как рвет и клокочет вода, скрытая густыми клубами дыма. Рыцарь стал ломать руки, рыдать и так громко звать любимую, что голос его сквозь бурю разносился далеко вокруг.

— Хоть раз, один лишь раз, — вздыхал он, — приди в мои объятия!

И тут из бездны, над которой пенилось бурное озеро, раздался голос:

— Приходи завтра ночью, в одиннадцатом часу, на это самое место! На волнах ты увидишь алую, как кровь, шелковую нить, потяни за нее!

Голос смолк. В тоске и горе отправился рыцарь домой, не ведая, что уготовит ему рок. Но в назначенный час он снова пришел на берег озера и сделал все, что повелел ему голос.

Трепетной рукой схватил он алую, как кровь, нить, потянул за нее — и вот перед ним предстала его возлюбленная.

— Неисповедимый рок, — сказала она, — вверг меня, ни в чем не повинную, в бездну вместе с виноватыми, но мне дозволено всякую ночь от одиннадцати до двенадцати беседовать с тобой; преступать же этот час мне нельзя; если я хоть раз нарушу условие, ты меня больше не увидишь. И, кроме тебя, никто не должен меня видеть, не то незримая рука перережет нить моей жизни.

Долго, долго продолжались ночные свидания на берегу озера, и всякий раз рыцарь тянул за алую, как кровь, нить, и из синих вод появлялась его возлюбленная. Как счастливы были они оба этими тайными встречами и ничуть не опасались, что их застанут врасплох в этом безлюдном, внушающем ужас месте. Но зависть и злоба выследили рыцаря, и однажды чужой человек подглядел, как влюбленные рука об руку гуляют по берегу озера. Когда на следующую ночь рыцарь приблизился к милому озеру, воды его в ясном свете месяца алели, будто кровь. Трепетной рукой схватился он за нить, но она побелела и была перерезана.

Стоная, метался рыцарь по берегу, ломая руки, звал свою любимую. Но все было тихо. Тогда безутешный юноша бросился в озеро, и волны над ним сомкнулись.

Улитка и роза

Сад окружала живая изгородь из орешника. За нею начинались поля и луга, где паслись коровы и овцы. Посреди сада цвел розовый куст, а под ним сидела улитка. Она была богата внутренним содержанием — содержала самое себя.

— Погодите, придет и мое время! — сказала она. — Я дам миру кое-что поважнее этих роз, орехов или молока, что дают коровы и овцы.

— Я многого ожидаю от вас, — сказал розовый куст. — Позвольте же узнать, когда это будет?

— Время терпит. Это вот вы все торопитесь! А торопливость ослабляет впечатление.

На другой год улитка лежала чуть ли не на том же самом месте, на солнце, под розовым кустом. Куст выпускал бутоны и расцветал розами, каждый раз свежими, каждый раз новыми.

Улитка наполовину выползла из раковины, наострила рожки и вновь подобрала.

— Все как в прошлом году! Никакого прогресса. Розовый куст остается при своих розах — и ни шагу вперед!

Прошло лето, прошла осень, розовый куст пускал бутоны, и расцветал розами, пока не выпал снег. Стало сыро, холодно; розовый куст пригнулся к земле, улитка уползла в землю.

Опять настала весна, появились розы, появилась улитка.

— Теперь уже вы старые! — сказала она розовому кусту. — Пора бы и честь знать. Вы дали миру все, что могли. Много ли — это вопрос, которым мне некогда заниматься. Да что вы ничего не сделали для своего внутреннего развития, это ясно. Иначе из вас вышло бы что-нибудь другое. Что вы скажете в свое оправдание? Ведь вы скоро обратитесь в сухой хворост. Вы понимаете, о чем я говорю?

— Вы меня пугаете, — сказал розовый куст. — Я никогда над этим не задумывался.

— Да, да, вы, кажется, мало затрудняли себя мышлением! А вы попробовали когда-нибудь задаться вопросом: зачем вы цветете? И как это происходит? Почему так, а не иначе?

— Нет! — сказал розовый куст. — Я просто цвел от радости и не мог иначе. Солнце такое теплое, воздух так освежающ, я пил чистую росу и обильный дождь. Я дышал, я жил! Силы поднимались в меня из земли, вливались из воздуха, я был счастлив всегда новым, большим счастьем и поэтому всегда должен был цвести. Такова моя жизнь, я не мог иначе.

— Словом, вы жили не тужили! — сказала улитка.

— Конечно! Мне было все дано! — отвечал розовый куст. — Но вам дано еще больше! Вы одна из тех мыслящих, глубоких, высокоодаренных натур, которым суждено удивить мир.

— Была охота! — сказала улитка. — Я знать не желаю вашего мира. Какое мне до него дело? Мне довольно самой себя.

— Да, но мне кажется, все мы, живущие на земле, должны делиться с другими лучшим, что в нас есть! Отдавать им все, что можем!.. Да, я дал миру только розы... А вы? Вам дано так много. Что дали миру вы? Что вы ему дадите?

— Что дала я? Что дам? Плевать мне на мир! Он мне ни к чему! Мне дела до него нет! Снабжайте его розами, вас только на это и хватит! Пусть орешник дает ему орехи, коровы и овцы — молоко, у них своя публика! Моя же — во мне самой! Я замкнусь в себе самой — и баста. Мне нет дела до мира!

И улитка заползла в свою раковину и закрылась в ней.

— Как печально! — сказал розовый куст. — А я и хотел бы, да не могу замкнуться в себе. У меня все прорывается наружу, прорывается розами. Лепестки их опадают и разносятся ветром, но я видел, как одну из моих роз положила в книгу мать семейства, другую приютила на своей груди прелестная молодая девушка, третью целовали улыбающиеся губки ребенка. И я был так счастлив, я находил в этом истинную усладу. Вот мои воспоминания, моя жизнь!

И розовый куст цвел во всей своей простоте и невинности, а улитка тупо дремала в своей раковине — ей не было дела до мира.

Шли годы...

Улитка стала прахом от праха, и розовый куст стал прахом от праха, истлела в книге и роза воспоминаний... Но в саду цвели новые розовые кусты, в саду росли новые улитки. Они заползали в свои домики и плевались — им не было дела до мира. Не начать ли эту историю сначала? Она будет все та же

С крепостного вала

Осень; стоим на валу, устремив взор на волнующуюся синеву моря. Там и сям белеют паруса кораблей; вдали виднеется высокий, весь облитый лучами вечернего солнца берег Швеции. Позади нас вал круто обрывается; он обсажен великолепными раскидистыми деревьями; пожелтевшие листья кружатся по ветру и засыпают землю. У подножия вала мрачное строение, обнесенное деревянным частоколом, за которым ходит часовой. Как там темно и мрачно, за этим частоколом! Но еще мрачнее в самом здании, в камерах с решетчатыми окнами. Там сидят заключенные, закоренелые преступники.

Луч заходящего солнца падает на голые стены камеры. Солнце светит и на злых и на добрых! Угрюмый, суровый заключенный злобно смотрит на этот холодный солнечный луч. Вдруг на оконную решетку садится птичка. И птичка поет для злых и для добрых! Песня ее коротка: "кви-вит!" — вот и все! Но сама птичка еще не улетает; вот она машет крылышками, чистит перышки, топорщится и взъерошивает хохолок... Закованный в цепи преступник смотрит на нее, и злобное выражение его лица мало-помалу смягчается, какое-то новое чувство, в котором он и сам хорошенько не отдает себе отчета, наполняет его душу. Это чувство сродни солнечному лучу и аромату фиалок, которых так много растет там, на воле, весною!.. Но что это? Раздались жизнерадостные, мощные звуки охотничьих рогов. Птичка улетает, солнечный луч потухает, и в камере опять темно; темно и в сердце преступника, но все же по этому сердцу скользнул солнечный луч, оно отозвалось на пение птички. Не

умолкайте же, чудные звуки охотничьего рога, раздавайтесь громче! В мягком вечернем воздухе такая тишь; море недвижно, словно зеркальное

Ромашка

Вот послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем — желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко — высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом — то деле был всего только понедельник; все дети смиренно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смиренно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благодать божью. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что в его громких, звучных песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. "Я ведь вижу и слышу все! — думала она. — Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!"

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки — им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала "Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я расту так близко — увижу все, налюбуюсь вдоволь!" Вдруг раздалось "квир-квир-вит!", и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала. "Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!"

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы — они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить — досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. "Какой ужас! Теперь им конец!" Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце — она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

— Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка! — сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

— Давай вырвем цветок! — сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

— Нет, пусть лучше останется! — сказал первый из мальчиков. — Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку. Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

— Тут нет воды! — жаловался жаворонок. — Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего божьего мира!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв в свежий, прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

— И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого дерна — вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток — благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

"Ах, чем бы мне утешить его!" — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

— Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько — горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку — его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о той, которая все-таки больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.

